

УДК 821.161.09

Абрамович С.Д.
(Черновцы, Украина)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статтю присвячено питанню про Біблію як інтертекст російської літератури та про недостатність традиційних, в першу чергу, соціологічних і академічно-позитивістських методів її вивчення, про необхідність використання різноманітних сучасних підходів.

Ключові слова: Біблія, «православне літературознавство», сучасна літературознавча методологія, системний підхід.

Статья посвящена вопросу о Библии как интертексте русской литературы и о недостаточности традиционных, в первую очередь, социологических и академическо-позитивистских методов ее изучения, о необходимости использования различных современных подходов.

Ключевые слова: Библия, «православное литературоведение», современная литературоведческая методология, системный подход.

Article is devoted to the Bible as intertext of Russian literature and the inadequacy of the traditional, primarily sociological and academic-positivist methods of its study, the need to use various modern approaches.

Key words: Bible, orthodox literature, contemporary Literary methodology, a systematic approach.

Я хочу напомнить читателю такую сцену. Юная Соня Мармеладова вынужденно, чтобы спасти от голода своих близких, идет на панель; выйдя из дому в шесть часов, она возвращается в девять, с тридцатью целковыми. Молча положив их на стол, она падает на кровать и – «только плечики вздрагивают». Если воспринимать эту сцену единственно в плоскости реалистического бытописания, то остается впасть в отчаяние от крайней униженности человека. Но все дело в том, что с шестого по девятый час умирал на кресте Христос, чья невинная кровь была оплачена тридцатью сребренниками. Это Его вечные раны горят в растерзанной плоти девушки, повторившей подвиг Спасителя без всякой надежды на понимание и прославление. Без этой символики роман Достоевского был бы плосок и ужасен [1, с. 23]. И найти отсвет лика Христа в растоптанной петербургской блуднице мог только художник, прозревающий под грязной плотью реальности некие скрытые силовые линии бытия. Можно ли обнаружить этот – главный – смысл произведения Достоевского, используя привычный инструментарий социологического подхода?

Казалось бы, старое российское, советское, да и постсоветское литературоведение¹ рассматривает литературу, в первую очередь в идейно-социологическом ключе. Но ключ этот исторически сложился как постепенная контаминация взаимоисключающих установок: во-первых, трактовки писателя как «учителя» (с древнерусских времен), во-вторых, – еще и как «слуги общества» (эпоха секуляризации). Десакрализованное творчество автоматически обращалось лицом к задаче прославления исключительно земного жизнеустройства; особенно четко поставил вопрос именно так классицизм, который устами Буало запретил писателю обращаться к Библии, зато обязал воспевать монарха. Как ни странно, такой подход только укрепили позитивистские установки авторитетной академической школы (культурно-историческая концепция И. Тэна): здесь важна была не сама литература, а паралитературные обстоятельства – среда, историческая обстановка и пр. Параллельно возникшая благодаря Белинскому, Чернышевскому и Добролюбову тенденция превратить литературу в некое подручное средство для совершенствования общества была очередной волной просветительского проекта десакрализации культуры и непосредственно подготовила марксистскую трактовку литературы как инструмента пропаганды. Когда Плеханов провозгласил тезис о необходимости «вырвать» художественные особенности произведения (как сорную траву, что ли?) и уж тогда спокойно анализировать оставшиеся «идейно-социологические» моменты, то он опирался не только на опыт школы Тэна, но и на традицию отечественной литературной критики, реализовавшей подобные идеи куда более радикально. В советские времена дирижеры науки и литературного образования уже попросту пытались превратить литературу в дидактику, в пропаганду, в «учебник жизни». Фактически это привело к моральной гибели авторитета литературы в школе, как средней, так и высшей. Ведь «учебником жизни» издавна были не стихотворение или роман, не субъективное произведение художника, пусть и самого талантливого, а книга сакральная. Дидактическая функция исконно присуща литературе утилитарной, по природе – риторической, а не поэтической; последняя никогда не будет ничем большим, чем рафинированное культурное развлечение. Желание наделить художественную литературу обязательной нравственно-воспитательной функцией могло возникнуть лишь у людей, внутренне абсолютно равнодушных и к литературе, и к моральному воспитанию. Важен, будет, естественно, не Шекспир, а комментарии к Шекспиру.

Но при этом даже безудержная социологизация литературы в советскую эпоху, в общем-то, не выходила за рамки алгоритма «секулярной религии», которую представляло собой коммунистическое мышление. Здесь обычно имплицитно присутствовала «Библия наыворот», как, скажем, в каноническом для социалистического реализма романе Максима Горького «Мать», представляющего собой вульгарное переосмысление Евангелия в «богоборческом духе» (образы Павла как апостола новой веры, Ниловны как варианта *Mater Dolorosa* и пр.). Агиографическая традиция также использовалась весьма широко – в бесчисленных жизнеописаниях военных и трудовых подвигов «замечательных людей». И, хотя механическая замена Бога на Материю и Социум не изменила ни «учительной» установки литературы, ни подневольного статуса самих учителей, общее подсознательное устремление к Абсолюту и Идеалу остается главной силовой линией литературного творчества. Поэтому феномен русской литературы непостижим без учета Библии как глубинного интертекста, и все попытки свести значение ее для русского

писателя исключительно к роли мертвого источника для интерпретаций, истолкований и пародий оказываются несостоятельными. Сказывается, что отправной точкой русской словесности была христианская традиция, так как собственное язычество ничего сколько-нибудь ценного не создало².

Научное же изучение Библии на школьной скамье представляет определенную проблему. Во-первых, проблему как-то вдруг приватизировали компаративисты, старая позитивистская школа, для которой чаще всего интерпретация с Библией, полемика или пародия куда важнее самой Библии. В качестве примера приведу одну, но выразительную ситуацию. Один из нынешних авторитетов этого направления, А. Нямцу, муссирует, например, предательство Иуды и практически противопоставляет того же Леонида Андреева Евангелиям – как нечто, по крайней мере, адекватное, повторяя алгоритм давно осмысленной и отвергнутой культурным сообществом гностической ереси раннего Средневековья.

Все это ужасно привлекательно для незрелого сознания, но, впрочем, кажется невинным по сравнению с призывом, брошенным в одном из недавних номеров известного молодежного журнала «Смена»: кто хочет «пожить язычником», пусть не тратит время на изучение разных языческих систем – пусть прямо обращается к сатанистам. Там все уже выбрано и сконденсировано: пользуйтесь на здоровье! Кажется, проект Просвещения, вылившийся на практике в сегодняшнюю массовую культуру, достиг своих геркулесовых столбов. Иррациональное стремление к разрушению как таковому и преклонение перед Злом отбросило использование всяческих масок вроде пропаганды утопических моделей человеческого будущего. Постмодернистская философия закрепляет это разрушение традиционных культурных миров и санкционирует замену художественного образа с его гносеологической глубиной – игровым, «невсамделишным» симулякром, что означает «искушение», «обман».

Словом, чтобы не утратить окончательно ключа хотя бы к русской классике, пора, видимо, вернуться к изучению основ Библии, не то скоро начнем разить друг друга на убой, как в парламенте. В условиях отделения церкви от школы – вполне, впрочем, закономерного, – проблема ознакомления подрастающего поколения с духовными основами нашей цивилизации остается насущной, особенно после десятилетий выкорчевывания всего, связанного с религией. Впрочем, до недавнего времени в школах Украины изучались не только Библия, но и Веды, Коран и т.д.; сегодня все это снято, по поводу чего можно высказать лишь уныние. Но есть и пределы для детского восприятия такого материала. Вузовская же программа в постсоветском пространстве сегодня отражает то состояние, которое сложилось в советские времена, когда Библию запрещалось изучать вообще. Она остается вне интересов будущего филолога, хотя для квалифицированного филолога изучение Библии необходимо. Так, на первом курсе студенты изучают в достаточном объеме античную литературу (с особым почему-то акцентом на мифологию античного мира – воздушный поцелуй умершему классицизму), и усваивают, что литература – это то, что строится по правилам «Поэтики» Аристотеля, «благородный вымысел». А следующее изучение средневековой литературы (без знания Библии) вообще лишается фундамента. Из литературного процесса искусственно изъято звено, без которого невозможно понять характер средневековой словесности. Инерция просветительских табу

XVIII века, умноженная на инерцию атеистической пропаганды времен тоталитаризма, продолжает довлеть, если не подавлять. И если ввести, наконец, Библию и подобные репрезентативные явления других литератур Востока в программы филологических факультетов, возникает задача выработки методики анализа их идейно-литературной специфики. Ведь истолкование Вечной Книги закономерно лишь при учете опыта теологии – превратить Библию на сугубо «литературный памятник» невозможно, поскольку писалась она (за немногими исключениями) не как художественное произведение и не по законам поэтики Аристотеля. Не следует забывать, что Библия – дидактическая книга, а художественные моменты в ней эпизодичны и второстепенны.

Конечно, нельзя сказать, что русское художественное слово выполняет во всем своем объеме ту же функцию, что *веданта* в литературах Индии по отношению к Ведам. Но практически ни одного «свободного» от прямого или косвенного влияния христианства сколько-нибудь крупного писателя здесь не отыскать – включая даже наиболее независимого от любых идеологических доктрин Чехова, о чем мне случалось писать [2]. Поэтому на фоне краха марксистской методологии любые попытки применить исключительно социологический подход обречены на неполноту, даже если заменить марксизм, например, социокультурной критикой (Ф. Р. Ливис); критика эта, состоящая в «снятии» романтической дихотомии «поэт – общество» и замене ее на представление о поэте как элитарном, духовном лидере общества, не дает возможности запрыгать русского Пегаса в плуг утилитаризма, не обломав ему при этом крылья. Пегас этот, в отличие от западноевропейских сородичей, стремится непременно возноситься в небеса, опускаться в глубины ада, постигать суть Бытия, границы Добра и Зла.

С другой стороны, цунами «православного литературоведения», поднявшееся в последние годы в России, не считается никак ни со спецификой художественного слова, ни с реальными фактами вообще. Возьмем того же Достоевского, которого уже именуют ни более, ни менее чем создателем особого «христианского реализма». Эту формулу вводит В. Н. Захаров, считающий, что история изучения русского реализма есть «история недоразумений» и стремящийся эти недоразумения рассеять следующим образом: «Достоевский был одним из тех, кто своим творчеством выразил идею христианского реализма <...> Путь русской литературы в ее высших свершениях последних столетий это путь обретения русским реализмом Истины, которая явлена Христом и «бысть Словом». На этом пути, согласно автору данного мнения, учителем Достоевского был Пушкин, в первую очередь – как автор «Повестей Белкина» [8]. No comments. А в чем, собственно, нова концепция И. Есаулова, выдвинувшего в последние годы звонкий термин «Пасхальность русской литературы», – ведь пасхальность эта практически неотличима от традиционного понятия «соборности», понимаемой как радость коллективного бытия людей, уверенных, что они обладают истиной [6, 7]. Возможны и модели наыворот: когда-то А. Готов провозгласил коммунистический тоталитаризм детищем... Евангелия [5], совершенно верно чувствуя, что где-то тут зарыта собака, но, увы, истолковавший слова Христа «Не мир я принес, но меч» как лозунг борьбы с инакомыслием...

И уж совершенно не берется в расчет то обстоятельство, что религиозность русского писателя (даже очень «православного» Достоевского) формировалась практически не столько под влиянием Библии, сколько апокрифов, в основном – гностического толка

[9]. Корни этого явления – в народном двоеверии, неизжитом язычестве. То есть, Злу здесь отводилась ровно такая же роль, как и Добру (в христианстве, по Августину, Зло собственной природы не имеет, оно лишь «тень Добра»). В казусе, к примеру, многих символистов или Михаила Булгакова эта гностическая концепция отчетливо выступает как основа авторской позиции.

Возвращаясь к проблеме секуляризации культуры, выдвинутой в эпоху Просвещения, заметим, что она до сих пор трактуется у нас в тонах некоего энтузиазма, но при этом литературовед не слишком вдается в природу многих явлений этого круга. Так, например, мало учитывается резонанс масонских идей как истока русского богоборчества – до сих пор нашим литературным этикетом негласно табуируется анализ соответствующих корней наследия того же Пушкина, масона высокого ранга, чьи вольнолюбивые идеи восходят к совершенно определенным источникам. Да об одном ли Пушкине тут надо говорить?

Кроме того, углубилось и представление и о «внутреннем человеке»: авторитетная некогда психологическая школа А. Потебни на глазах «усохла»: уже очевидно, что многое здесь – от А. Гумбольдта, что уровень сегодняшней научной психологии несравненно глубже – довольно вспомнить психоанализ Фрейда и Юнга. Но кто, собственно, кроме анекдотически известного с 30-х гг. XX в. проф. Ермакова пытался применить эту методологию к русской литературе? А ведь это может дать ощутимый результат. Возьмем хотя бы учение об архетипе как структурном принципе организации литературы. Упомянутое выше брожение в подсознании русского общества не изжитых до конца древних языческих представлений о мире как игре равноправных Правды и Кривды обусловило и то, что «взросление» общества, его, говоря языком Юнга, Инициация – затянулась. Ведь взросление, по Юнгу, – это выход из мира Матери в мир Отца, что в русской культурной традиции неотделимо от Заповедей Декалога. Но русская душа, которую Н. Бердяев недвусмысленно определил как «женственную» [3, с. 12], стабильно остается в плену Материнского (культ Родины, например), а «суррогатный Отец» – земной Вождь – то и дело насильничает и пробуждает бунтарство. Право, фрейдизм, исчерпавший себя на Западе, у нас еще далеко не использован до конца. А тут еще и Фромм, предоставляющий довольно надежные ключи к сложным социально-психологическим ситуациям. И – можно ли обойти сегодня вниманием методологию исследования исторически повторяющихся в литературе символично-психологических форм, изложенную в «Анатомии критики» Н. Фрая, этом программном документе ритуально-мифологического литературоведения? И кто и когда всерьез русскую литературу в таких аспектах масштабно исследовал?

М. Чудакова не так давно заметила, что наше литературоведение осложнилось: оно впитало и ОПОЯЗ, и структурализм, и постструктурализм – и вплыло в общезстетическую и социопсихологическую стихию постмодернизма (деконструктивизм и др.). Отдельные анализы, по ее мнению, бывают очень интересны, но они не отвечают на основные вопросы – хотя бы потому, что их не ставят. Новые школы не учитываются никак, потому что разрушают все для нас привычное. Вузовское литературоведение этих проблем вообще боится: там все, как в 80-х годах прошлого века.

Скажем чуть подробнее об этих вещах. Начнем со структурализма. Именно утомленность идейной перенапряженностью, «сверхзадачами» литературы, привела к своеобразному нигилизму: со времен формалистов не прекращаются попытки проигнорировать

всякое идейное наполнение литературы и рассматривать русское художественное слово в духе Вёльфлина – как чисто эстетическую конструкцию. Такая концепция восходит к кантианской идее «чистого искусства» (постсоветские ученые старшего поколения хорошо помнят, каким жупелом было это выражение). Вот и изучение русской литературы в аспектах примата структуры над событием, синхронии над диахронией, инварианта над вариантами и пр. велось все же в целом спорадично. Много пытались сделать в этой области Ю. Лотман и его школа, но структурализм успел фактически сойти со сцены, однако полезные стороны его методологии к изучению русской литературы так и не были применены в должном масштабе. Да и постструктуралистские принципы, сформулированные благодаря М. Фуко и др. (текст как «безвластие» и способ дезорганизации произведения и пр.), к русской литературе все еще применяются эпизодически, как будто она какого-то иного сорта, нежели прочие литературы мира.

Термином «новая критика» обычно обозначают новый стиль интерпретации, сложившийся в Англии и США в 30-х – начале 40-х годов XX века и понемногу проклевывающийся у нас. «Новая критика» также была реакцией на избыточный психологизм, равно как и на естественнонаучный и социально-экономический редукционизм в гуманитарных науках; она, вместе со структурализмом, подготовила почву для расцвета деконструктивизма на Западе. Все три направления исходят из положения: художественный текст следует изучать без контекста. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но какие-то явные, пусть и частичные результаты такой свободный подход приносит, в частности – бунт Деррида против диктата логики и грамматики. Стало ли такое исследование русской литературы привычным, слышно ли о его принципах с вузовской кафедры? Ответ ясен: для многих литературоведов, особенно пожилых, все это труднопостижимо и ненужно.

В последнее время все чаще приходится слышать звучное слово «герменевтика» – «искусство понимания», выросшее на основе соответствующего философского направления и теории интерпретации литературных текстов: герменевт исходит из того, что реальность мы видим сквозь призму культуры, которая представляет собой совокупность основополагающих текстов. Но где он, монументальный и всеохватывающий герменевтический анализ такого явления, как русская литература? А ведь есть еще и различные течения: «онтологическая герменевтика» Хайдеггера: (искусство как теургический акт), «философская герменевтика» Гадамера («метод против истины») «феноменологическая герменевтика» Рикера... К слову, герменевтические глубины таят обычно все те же библейские импульсы (да пусть и какие иные). Ведь можно довольно достоверно описать в этом ключе поистине впечатляющую панораму русского духовно-художественного мира, донести все это до студента... Кто и когда этим займется?

Впрочем, мы не всегда вот так грустно отстаем. Зато у нас уже на школьной скамье широко внедряется рецептивно-исторический метод, строящийся на отрицании объективной ценности культуры (и литературы), равно как и идеи отражения в художественном произведении реальности и истории. Из двух направлений этой школы у нас фактически прижился лишь один вариант: текст произведения воспринимается практически только по В. Изеру – как стратегия отрицания устоявшейся морали и пробуждения в личности неожиданных импульсов. Читатель как участник литературного процесса тут практически перестает быть участником диалога, внимающим писателю, он приобретает право некоего духовного самостояния: припомни-ка, братец, прям по Прусту: что

тебе напоминает кровь, хлынувшая из разрубленной Раскольниковым головы старухи-процентщицы? Правильно, все помним: кошке голову оторвал в 1-м классе, молодец³.

А часто ли включается в наш анализ русского слова категориальный аппарат «литературного феминизма»? Как разобраться в темных омутах, из которых без стыда произрастают чудесные цветы того же Серебряного века, когда литература всяма, всяма часто создавалась, по-нашему говоря, геями и лесбиянками? Да тут и о классиках уровня Гоголя и Толстого – говорить и говорить... Ан не слышно что-то таких разговоров.

Ждет своих исследователей в области русской литературы и проблема колониальной ментальности и культурного низкопоклонства, нынче столь модная [см.: 4], не в последнюю очередь, благодаря Э. Саиду. Впрочем, Саид, придавший этой проблеме дискурс ориентализма, – не слишком большой авторитет, его работы подвергались основательной критике. Но проблема, что называется, имеет место. Достаточно вспомнить такие глобальные и до конца не решенные вопросы, как Россия и Запад, Россия и мусульманская культура, наши яростные споры о духовно-культурном статусе Украины, споры о Гоголе и многое, многое другое... Проблема порой возникает в самых неожиданных ракурсах: так, даже Бродский, выброшенный империей из своего лона, сохранял вполне имперское мышление, об этом много говорили верного.

Создание некой синтетической методологии, которая продолжила бы наши не вполне уверенные попытки осуществить системный анализ литературы, декларированный еще М. Б. Храпченко, под силу лишь серьезному коллективу исследователей, вооруженных знанием того, что делается нынче в мировой науке, и небезразличных к русской литературе.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Не говорю о литературоведческом зарубежье, которое, при многих отдельных, часто блестящих наблюдениях, все же определенного направления не составило.

² Серьезные ученые резко отрицают аутентичность таких «памятников», как *Велесова книга* (как-то с экрана телевизора один из серьезных украинских ученых, живущих в диаспоре, очень точно употребил по поводу этой фальшивки крутое слово «дурисвітство»). Но эту самую фальшивку – равно как и созданные «от имени народа праславянские мифы» пера современного украинского литератора В. Войтовича, проникнутые духом ксенофобии, – у нас при прежнем министре ввели в программу в качестве обязательных для изучения текстов. Тут бы оберечь от обвинений в подложности «Слово о полку Игореве» и «Повесть временных лет», о происхождении которых в последние годы пишут разное, так на тебе – добавляем масла в огонь.

³ Второе направление (Г. Р. Яусс) трактует художественное произведение как нечто вообще не имеющее отношения к реальности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамович С. В поисках утраченного рая: духовное самоопределение русского писателя XIX – начала XX ст. : монография / С. Д. Абрамович. – К. : Издат. дом Дмитрия Бурого, 2009. – 264 с. (10, 1 п. л.) + 16 с. ил.
2. Абрамович С. Обретение вечности как метасюжет зрелого Чехова / С. Д. Абрамович // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого. Вип. 13. – Т. I (137). 2010. – С. 5–13.

3. Бердяев Н. Избранные произведения : монография / Бердяев Н. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 544 с.
4. Вальдштейн М. Новый Маркиз де Кюстин, или Польский травелог о России в постколониальном прочтении. – [Режим доступа]: russia-west.ru.
5. Готов А. «Иже еси в Марксе» (Русская литература XX века в контексте культового сознания) : монография / Готов А. – Зелена Гура: б. и., 1995. – 148 с.
6. Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности : монография / Есаулов И. А. – М.: Кругъ, 2004. – 560 с.
7. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе : монография / Есаулов И. А. – Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1995. – 288 стр.
8. Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы). – [Режим доступа]: <http://www.portal-slovo.ru/rus/philology/258/560/9837/>
9. Grzech J. Fiodor Dostoewski – problem Zła a idea powszechnego zbawienia // Problem zbawienia w religiach i kulturach / Grzech J. – Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagellońskiego, 1997. – S. 201–209.

УДК 821.14.25

Бондаренко І.П.
(Київ, Україна)

ЯПОНСЬКИЙ МЕНТАЛІТЕТ У ДЗЕРКАЛІ ПОЕЗІЇ ЖАНРУ ХАЙКУ

У статті розглядаються типові риси японського національного менталітету, що яскраво віддзеркалилися в поезії жанру хайку. Особлива увага приділяється таким поняттям, як «бігаку» («почуття краси») та «аймай» («двозначність», «невизначеність»).

Ключові слова: менталітет, японський національний менталітет, японська поезія, хайку, бігаку, аймай.

В статье рассматриваются типичные черты японского национального менталитета, которые ярко отразились в поэзии хайку. Особое внимание уделяется таким понятиям, как «бигаку» («чувство красоты») и «аймай» («двусмысленность», «неопределенность»).

Ключевые слова: менталитет, японский национальный менталитет, японская поэзия, хайку, бигаку, аймай.

The typical traits of Japanese national mentality, what were brightly reflected in the poetry of haiku, are examined in the article. The special attention is spared to the concepts «bigaku» («sense of beauty») and «aimai» («ambiguity», «vagueness»).

Key words: mentality, Japanese national mentality, Japanese poetry, haiku, bigaku, aimai.

I

Насамперед слід зауважити, що саме ми розуміємо під концептуальним поняттям “менталітет” або “національний менталітет”, віддзеркалення якого в поезії хайку стало